**Исторический гений Ломоносова**

Фомин В. В.

Выдающийся вклад М.В. Ломоносова в развитие многих отраслей науки бесспорен, и о нем, как гениальном ученом, надолго опередившем свое время, на конкретных примерах говорят химики, физики, литераторы, лингвисты и многие другие их собратья по научному цеху. Но когда речь заходит о Ломоносове как историке, то в устах большинства историков звучит иная тональность, тональность негативная, и при этом в качестве главных обвинительных пунктов ему предъявляют как его антинорманизм, так и его роль в обсуждении диссертации Г.Ф. Миллера в 1749—1750 годах. Состоятельность такой оценки Ломоносова-историка сомнительна уже потому, что она исходит от норманистов, к тому же придавших ей, уклоняясь от разговора по существу, ярко выраженный политический характер. Взгляд своего противника на этнос варягов они квалифицируют как якобы ложно понятый им патриотизм, что позволяет им выводить его за рамки науки.

При жизни Ломоносову не составляло труда открыто отстаивать свою концепцию начальной истории Руси в спорах с немецкими учеными, работавшими в Петербургской Академии наук. Но его кончина позволила им без всяких помех взять реванш не столько для себя, сколько для норманизма, бросив на Ломоносова тень как на специалиста в области истории. В 1773 г. Г.Ф.Миллер уверял, что в ней он не показал "себя искусным и верным повествователем" (1). В 1802 г. А.Л. Шлецер охарактеризовал Ломоносова "совершенным невеждой во всем, что называется историческою наукою" (даже в отношении других его научных занятий Шлецер сказал, что он и "в них остался посредственностью"). Не довольствуясь таким приговором, он навесил на Ломоносова еще и ярлык национал-патриота, объяснив причину его выступления против Миллера тем, "что в то время было озлобление против Швеции" (2). И авторитета Шлецера было достаточно, чтобы российская дореволюционная наука, где господствовал норманизм, в лице самых лучших ее представителей ? Н.М. Карамзина, М.П. Погодин, С.М. Соловьева, П.С. Билярский, К.Н. Бестужева-Рюмина, П.П. Пекарского, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова и др., ? его лишь глазами смотрела на Ломоносова и вслед за ним выводила антинорманистские идеи ученого и его последователей за пределы науки, при этом абсолютизируя работы по русской истории Байера, Миллера, Шлецера.

По причине господстве норманизма в умах исследователей мнение о несостоятельности Ломоносова как историка было перенесено в советскую историческую науку предвоенных лет, проводившую мысль, что в отношении Ломоносова к трактовке варяжского вопроса немецкими учеными выразился протест русского национального чувства, вызванный временем Э.И. Бирона. В те же годы продолжался лепиться его образ как нетерпимого националиста и ксенофоба. Так, Н.А. Рожков утверждал, что "патриот в духе того времени, националист Ломоносов" отверг норманскую теорию и отрицательно относился к немцам, работавшим над русской историей. Г.П. Шторм массово растиражировал в серии "ЖЗЛ" мнение, как был "глубоко неправ" Ломоносов, "обрушившись" на Миллера — "беспристрастного историка" и "отца" русской научной историографии, стоявшего "несравненно выше Ломоносова, как историка" — "с окрашенной в сугубо-националистический тон критикой". Н.Л. Рубинштейн внушал, что Ломоносов лишь "во имя национальной гордости" восстал против монополизации иностранцами исторической науки и норманской теории, что он, не будучи "историком-специалистом", безосновательно критиковал Миллера. Работы же Миллера Рубинштейн характеризовал как "совершенно новый этап в развитии русской исторической науки" и предельно высоко оценивал "строгость научной критики, точность научного доказательства" Байера и Шлецера (3). Сегодня в науке в оценке Ломоносова как историка также торжествует самый крайний скептицизм: Л.П. Белковец, А.Б. Каменский, Д.Н. Шанский, А.С. Мыльников, Э.П. Карпеев, И.Н. Данилевский и др. настойчиво подчеркивают, что Ломоносов в споре с Миллером, знавшим источники лучше своего оппонента и стремившимся доказать истину, был пристрастен, создал совершенно ненужный ажиотаж вокруг варяжской проблемы и, являясь выразителем "амбициозно-национальной" политики, заменял научную аргументацию "доводами гипертрофированного патриотизма".

Чтобы понять, соответствует ли истине приговор Ломоносову как историку, вынесенный заинтересованной стороной — норманистами, следует обратиться к первоисточникам: к диссертации (речи) Миллера "О происхождении имени и народа российского" и замечаниям на нее Ломоносова. Над своим произведением Миллер работал с весны 1749 г., готовясь прочитать его на первой в истории Академии наук "ассамблее публичной", назначенной на 6 сентября (на следующий день после тезоименитства императрицы), а затем перенесенной на 26 ноября (на другой день празднеств годовщины ее восшествия на престол). Одновременно с Миллером получил предписание выступить на торжественном собрании с похвальным словом Елизавете Петровне Ломоносов. Как подчеркивалось в определении Канцелярии Академии, оба сочинения "требуют великого осмотрительства, так как новое дело", в связи с чем были предварительно "апробованы" президентом Академии наук К.Г. Разумовским и его правой рукой Г.Н. Тепловым, находившимися тогда в Москве. Похвальное слово Ломоносова в начале августа 1749 г. было ими одобрено и разрешено к печати. Но у них вызвала сомнение речь Миллера, в связи с чем Теплов, возвращая ее первую часть, советовал "некоторые строки выпустить".

Это сомнение возрастало по мере знакомства с нею, и по решению президента она была передана на экспертизу коллегам Миллера. 21 августа советник Канцелярии Академии наук И.Д. Шумахер поставил Теплова в известность о мнении профессоров, что если напечатать ее в том виде, как есть, то "это было бы уничижением для Академии". Через два дня на соединенном Академическом и Историческом собрании речь была "торопливо" рассмотрена и разрешена к печати с учетом замечаний, поступивших от присутствующих. Но, как уведомлял Шумахер Теплова, "Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнения, ни его способа изложения". Перенос торжественного заседания Шумахер использовал для организации пересмотра диссертации Миллера "по отдельности", и она была послана И.Э. Фишеру, Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, С.П. Крашенинникову, В.К. Тредиаковскому, М.В. Ломоносову, Н.И. Попову с тем, чтобы "освидетельствовать, не сыщется ль во оной чего для России предосудительного". Названные лица и на сей раз вынесли ей тот же вердикт, который они высказали еще при первом знакомстве с нею, но только использовав теперь формулировку Канцелярии Академии: они расценили речь именно как "предосудительную России". После того, как Миллер обвинил оппонентов в пристрастном отношении к своей работе, в стенах Академии разгорелась острая дискуссия (октябрь 1749 — март 1750). В итоге диссертация была забракована, а отпечатанный тираж был уничтожен.

В разговоре о полемике Ломоносова и Миллера симпатии большинства специалистов находятся на стороне последнего. Тому способствуют несколько обстоятельств. Первое из них заключается в том, что Ломоносов якобы не мог терпеть иностранцев, потому-то он так и третировал Миллера. Начало этому мнению так же положил Шлецер, уверяя, что "русский Ломоносов был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских". Ни Шлецер, ни те, кто за ним повторяет это абсурдное обвинение, старательно не замечают дружбы Ломоносова с работавшими в России иностранными учеными. После смерти Г.В. Рихмана, с которым, по признанию Ломоносова, его связывали "согласие и дружба", он принимает живейшее участие в судьбе его семьи, совершенно оставшейся без средств существования. Ломоносов говорит о "добром сердце и склонности к российским студентам" И.Г. Гмелина, читавшего "им в Сибири лекции, таясь от Миллера, который в том ему запрещал". В отношении И.А. Брауна он отмечал его "старание о научении российских студентов и притом честная совесть особливой похвалы и воздаяния достойны". Был очень близок со Я.Я .Штелиным, которого единственного из своих знакомых называл в письмах другом и который последние дни пробыл с умирающим Ломоносовым. Ломоносов, которого рисуют непримиримым борцом за "чистоту" рядов российской науки, рекомендовал для работы в Академии И.К. Шпангенберга и К. Дахрица. В отношении своего учителя немца Х.Вольфа Ломоносов проявил беспримерный такт. Видя, что его физические воззрения вошли в диаметральное противоречие с взглядами Вольфа, Ломоносов на протяжении нескольких лет не решался опубликовать результаты своих наблюдений, боясь "омрачить старость мужу, благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть".

Ломоносов, которому приписывают особую нелюбовь к Миллеру, полностью его поддержал в конфликте с П.Н. Крекшиным, когда тот, получив отрицательный отзыв Миллера на свое сочинение по генеалогии, где выводил Романовых от Рюриковичей, обвинил его в "государственном преступлении". Ломоносов, решительно встав в этом весьма непростом деле, связанном с высочайшей фамилией, на защиту правоты немца Миллера и выступив против фальсификации русского Крекшина. Борясь за торжество правды и справедливости в науке, Ломоносов не был, конечно, "ксенофобом, жизненная задача которого заключалась в борьбе с иноземцами". Это слова произнес недавно Э.П. Карпеев, правда, все сведя лишь к "идейным позициям" тех, кто стремился использовать его имя в своих целях (4). Но подобное представление о русском гении создали именно норманисты. Отношения между Ломоносовым и Миллером и Шлецером были очень непростыми, и на них нельзя смотреть только с позиций последних. Так, они постарались после смерти русского ученого в самом негативном свете выставить его перед зарубежными историками. В Германии были напечатаны недоброжелательные рецензии на труды Ломоносова, в которых, констатируется в науке, "совершенно отчетливо прослеживается влияние, а быть может и авторство, А.Л. Шлецера и, вероятно, Г.Ф. Миллера". Шлецер в своих мемуарах навязывал просвещенной Европе более чем отталкивающий образ Ломоносова, говоря, что он противился изданию Повести временных лет (ПВЛ) и труда В.Н. Татищева, т.к. хотел напечатать свой "Краткий Российский летописец", что он был полон "варварской гордости", тщеславия, что он клеветник, кляузник, грубый невежда, горький пьяница, "дикарь", который стремился не только удалить Шлецера из Академии, но и желал его "погибели, в серьезном значении".

Второе из обстоятельств, определяющих расположение исследователей к Миллеру, это их убежденность лишь в патриотической подоплеке выступления русского Ломоносова против идей норманизма, только в силу политических причин добившегося запрета диссертацию немца, отстаивавшего истину. Но нелестные отзывы на нее дали (возражая на каждую ее страницу!) нерусские ученые — профессор истории И.Э. Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, которых, в отличие от Ломоносова, сложно записать в патриоты. Уже один этот факт многое говорит о научной значимости рецензируемого ими труда, что подтверждают мнения крупнейших норманистов, немцев по происхождению. Так, А.Л. Шлецер увидел во многих положениях диссертации Миллера "глупости" и "глупые выдумки", а А.А. Куник в целом охарактеризовал ее "препустою". Тем самым они, не желая того, признали принципиальную правоту Ломоносова в ее оценке и отмели домыслы об отсутствии в его критике каких-либо серьезных оснований, кроме, как только патриотических. Стоит добавить, что И.Д. Шумахер, инициировавший обсуждение речи Миллера, назвал ее "галиматьей".

Рассматривая причины противостояния Ломоносова и Миллера лишь как противостояние русского и немца, исследователи-норманисты, чрезмерно преувеличивая роль "патриотического фактора" и упрощенно сводя принципиальную позицию Ломоносова лишь только к нему, тем самым грубо искажают ее, отчего из поля их зрения выпадают подлинные причины разгоревшейся полемики между ними. А этих причин две и они названы Ломоносовым. Во-первых, свое неприятие диссертации Миллера он объяснял в ходе самой дискуссии тем, что она, служа "только к славе скандинавцев или шведов… к изъяснению нашей истории почти ничего не служит", т.е. фактически не имеет никакого отношения к русской истории. Во-вторых, в 1764 г. Ломоносов добавил, что Миллер при сочинении диссертации "избрал материю, весьма для него трудную, — о имени и начале российского народа". Но как мог судить о недостатках речи "историографа" Миллера и что мог знать об этой "ученой материи" "профессор химии" Ломоносов?

Третье из обстоятельств, заставляющих ученых занимать сторону Миллера, это как раз то, что Ломоносов, по их понятиям, "не был профессиональным историком", тогда как Миллер "был профессиональным историком" и занимал должность официального историографа. У истоков такого мнения опять же стоял Шлецер, говоривший, что между всеми русскими, "писавшими до сих пор русскую историю, нет ни одного ученого историка". "…Что от химика по профессии, — иронизировал он в адрес Ломоносова, — уже a priori можно было бы ожидать такой же отечественной истории, как от профессора истории". Но, во-первых, Ломоносов не был и профессиональным филологом, но создал "Российскую грамматику", на которой воспитывалось "несколько поколений ученых грамматистов, и вплоть до 30-х годов XIX в. изучение грамматического строя русского языка шло по пути, намеченному Ломоносовым". Во-вторых, не то, что в "профессора истории", но даже в историки не готовились сами немецкие ученые, но они стали таковыми, как и Ломоносов, в ходе самостоятельной и многолетней работы. Байер, еще в школе начав изучать языки и историю Церкви, продолжил свое образование в Кенигсбергском университете, где защитил диссертацию по крестным словам Иисуса Христа, после чего занимался в основном Востоком и Китаем. Миллер, так и не завершив университетского образования, интересовался этнографией и экономикой. Шлецер, проучившись около трех лет на богословском факультете Виттенбергского университета, защитил там диссертацию "О жизни Бога". Затем год слушал лекции по филологическим и естественным наукам в Геттингенском университете, где увлекся филологической критикой библейских текстов, говоря впоследствии, что "я вырос на филологии". Некоторое время спустя в том же университете он изучал медицину (и защитив по ней диссертацию), естественные науки, метафизику, математику, политику, статистику, юриспруденцию. В университете Байер, Миллер, Шлецер, получая типичное для того времени эрудитское образование, могли ознакомиться с историей, но только с древней, да и то лишь, по словам Шлецера, "в своих главных событиях". Другие периоды в истории человечества не интересовали тогдашних ученых мужей. К русской же истории они начали приобщаться только по приезду в Петербург и только в той мере, в какой они овладевали русским языком.

Ломоносов, взрастая на Русском Севере, аккумулировавшем народную память, уже с детства впитывал историю Родины. Слушая в Славяно-греко-латинской академии курсы истории, а также пиитики и риторики, укреплявшие его интерес к истории вообще, он, овладев в совершенстве латынью (ее он знал, свидетельствует историк И.Э. Фишер, "несравненно лучше Миллера") и читая по-гречески, самостоятельно изучает отечественные и зарубежные источники, затем приумножая знания русской и европейской истории и совершенствуя навыки в работе с письменными памятниками в Киеве. Сверх того Ломоносов получил прекрасное европейское образование в Марбургском университете под руководством знаменитого Х. Вольфа. И университет он закончил просто блестяще. Вольф, характеризуя своего воспитанника, отмечал в июле 1739 г.: "Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики и с особенною любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращению в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю".

Успешно овладевая в Германии по программе математикой, механикой, химией, физикой, минералогией, металлургией, философией, Ломоносов по собственному почину занимался еще риторикой, изучением западноевропейской литературы, стихотворными переводами, писал стихи, создал труд по теории русского стихосложения, овладел немецким и французским языками. Не оставил он за границей и своей тяги к истории России. Так, в 1740 г. им была приобретена "История о великом княжестве Московском" шведа П. Петрея, вышедшая во втором десятилетии XVII в. на шведском и немецком языках. Продолжал накапливать свой исторический потенциал по возвращению домой. О его высоком авторитете как историка перед началом дискуссии говорит тот факт, что свою "Историю Российскую" к нему на рецензирование направил В.Н. Татищев. Лестно оценив этот труд, Ломоносов особенно отметил "Предъизвесчение", которым он открывался. В письме автору от 27 января 1749 г. Ломоносов подчеркивал, что "оно весьма изрядно и вовсем достаточно и поправления никакого не требует". Столь высокая характеристика введения, в котором Татищев обосновывает принципы понимания истории, задачи ее изучения, отбора и критики источников, в свою очередь полно характеризует Ломоносова как историка.

Сам же интерес Ломоносова к варяжской проблеме пробудился задолго до 1749 года. В преддверии отъезда в Россию он из Марбурга обратился в апреле 1741 г. с просьбой к Д.И. Виноградову (товарищу по учебе в Германии, находившемуся во Фрейберге) выслать три книги из числа тех, что оставил, покинув этот город, а именно риторику француза Коссена, сочинение немецкого поэта Гюнтера и названное уже сочинение Петрея, а также "деньги за может быть проданные книги". Почему Ломоносов, остро нуждавшийся в средствах, не хотел расстаться именно с этими книгами? В отношении Коссена и Гюнтера все предельно ясно. Именно в рамках тематики этих трудов шла тогда интенсивная работа Ломоносова, вылившаяся в 40-х гг. в новационные исследования по риторике и поэзии. Внимание к Петрею могло быть вызвано только тем, что у него Ломоносов впервые встретил пояснение (положившее начало норманизму), "что варяги вышли из Швеции". В пользу целенаправленного интереса ученого к варягам до 1749 г. говорит и тот факт, что к этому времени он очень хорошо знал знаменитую статью Г.З. Байера "De Varagis" ("О варягах"), часто упоминая ее в дискуссии с Миллером.

В Библиотеке Академии наук имеются рукописи, поступившие в ее фонды до 1749 г, и хранящие пометки Ломоносова. Так, в Патриаршем списке Никоновской летописи им особенно подчеркнуты те места, где излагается Сказание о призвании варягов, а в Хронографе редакции 1512 г. и Псковской летописи выделена иная, чем в ПВЛ, версия этого памятника. И в других летописях Г.Н. Моисеева нашла следы работы ученого над теми текстами, где речь идет о варягах (например, что Ягайло "съвокупи литвы много и варяг и жемоти и поиде на помощь Мамаю", причем Ломоносов внизу сделал сноску: "варяги и жмудь вместе"). Исследовательница полагает, что интерес Ломоносова к варяжской теме обозначился в полемике с Миллером. Но этот вывод ставит под сомнение материал, который Моисеева открыла в Киеве, и с которым работал Ломоносов, будучи несколько месяцев в этом городе в 1734 году. Так, в рукописи Киево-Печерского Патерика им выделена та часть, где говорится о Варяжской пещере, в которой "варяжский поклажай есть, понеже съсуди латиньстии суть. И сего ради Варяжскаа печера зовется и доныне", а на полях Ломоносовым приписано: "Latini wasi[s]" ("латинские сосуды").

Многолетняя и целенаправленная работа с историческими источниками и исторической литературой превратила Ломоносова к 1749 г. в высокопрофессионального историка. Об уровне квалификации Ломоносова в этой области знаний свидетельствует его отношение к источникам, и этот уровень диктовался как предыдущими занятиями историей, так и всем кругом научных интересов Ломоносова, в котором он показал себя уже выдающимся ученым, в совершенстве владеющим методами научного познания. Это сразу же позволило ему увидеть односторонность принципа отбора Миллером источников, этого прямого пути к ошибкам. Вопрос об источниковой базе оппонента Ломоносов, что характеризует его профессионализм, поднял в самом первом пункте своего первого отзыва на диссертацию, указав, что Миллер использовал только иностранные памятники, совершенно игнорируя русские и маскируя свою тенденциозность утверждением, "будто бы в России скудно было известиями о древних приключениях". Вместе с тем заметив, что Миллер выборочно пользуется свидетельствами иностранных авторов, произвольно объявляя их либо достоверными, либо недостоверными, при этом отдавая предпочтение "готическим басням".

Миллер, хотя и пишет в диссертации, что у датчан и норвежцев древняя история "наполнена баснями и написана больше для своей похвалы", но тут же жестко задает цель своего сочинения: что из их истории "объявлю, чем показать можно, что скандинавы всегда старались наипаче о приобретении себе славы российскими походами". Тенденциозный подбор Миллером источников, был виден, кстати, не только Ломоносову. На абсолютизацию свидетельств северных авторов Миллеру указывал и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт. И во многом справедливы слова Ломоносова, что "опустить историю скандинавов в России" надо потому, что она "состоит из нелепых сказок о богатырях и колдуньях, наподобие наших народных рассказов вроде сказки о Бове-королевиче". Уровень доказательств Миллера и запрограммированность самой речи полно характеризует его реакция на упоминание Ломоносовым Бовы-королевича, известного героя русской волшебной богатырской повести: "Не помню, чтобы я когда-нибудь слышал рассказ о королевиче Бове; на основании имени подозреваю, что он, пожалуй, согласуется с северными рассказами о Бове, брате Бальтера… если бы это было так, то он еще больше иллюстрировал бы связь между обоими народами". Н. Сазонов, высоко чтя заслуги ученого перед российской исторической наукой, в данном случае не мог не заметить, что "это уже превосходит всякую меру".

Правоту Ломоносова, отдававшего, по сравнению с Миллером, приоритет летописям перед скандинавскими сагами, подтвердили именитые норманисты. Так, Шлецер, выделяя ПВЛ из числа средневековых памятников, отмечал, что она превосходна "в сравнении с беспрестанной глупостью" саг, называл последние "бреднями исландских старух", которые необходимо выбросить из русской истории, сожалел о том, что Байер "слишком много верил" им. Карамзин противопоставлял саги — "сказки, весьма недостоверные" летописям, достойным "уважения", заметив в отношении Миллера, что он в своей речи "с важностью повторил сказки" Саксона Грамматика о России. Со временем Миллер поменял свой взгляд на летописи. И если в 1755 г. он, рассуждая о ПВЛ, указывал, что подобной летописи другие славянские народы не имеют, то в 1760—1761 гг. уже подчеркивал, что летописи представляют собой "собрание российской истории, толь совершенное, что никакой народ подобным сокровищем, толь много лет в непрерывном продолжении включительным, хвалиться не может". Значительно сдержаннее он стал и в оценке саг, говоря, что в них находится "много бесполезного, гнусного и баснословного, а особливо что нельзя оттуда выбрать никакого согласного леточисления".

Ломоносов заключал, что "иностранные писатели ненадежны" при изучении истории России, т.к. имеют "грубые погрешности". Миллер усвоил и эту часть урока по источниковедению, который ему преподал оппонент, говоря в 1755 г., что если пользоваться только иностранными авторами, то "трудно в том изобрести самую истину, ежели притом" не работать с летописями и хронографами. Позже он добавил, что иностранцы не долго были в России, большинство из них не знало русского языка, и "то они слышали много несправедливо, худо разумели, и неисправно рассуждали". Но лучше по этой теме сказал Шлецер. Характеризуя работу профессора Г.С. Трейера "Введение в Московскую историю" (1720), излагающую ее с Ивана Грозного и лишь на основе записок иностранцев, он был весьма немногословен: "Слепца водили слепцы". Вместе с тем Ломоносов не абсолютизировал показания отечественных памятников, в то же время предостерегая от отказа от них лишь на том основании, что "в наших летописях не без вымыслов меж правдою, как то у всех древних народов история сперва баснословна, однако правды с баснями вместе выбрасывать не должно, утверждаясь только на одних догадках". Под влиянием Ломоносова Миллер кардинально поменял свое отношение к исследованиям зарубежных историков, касавшихся варяжского вопроса, став относиться к ним критически. Так, в ходе дискуссии он советовал Ломоносову почитать шведа О. Далина, полагая, что тот развеет все их сомнения в норманстве варягов. Но уже в 1761 г. Миллер сказал о неправоте Далина, "когда немалую часть российской истории внес в шведскую свою историю", а в 1773 г. прямо назвал все его разглагольствования "вымыслами". Надлежит добавить, что Шлецер, говоря о "смешных глупостях" писавших о России иностранных ученых, в качестве примера назвал "Далинов роман о Голмгордском царстве". А Карамзин охарактеризовал выводы шведского историка "нелепостями" и "баснословием".

В разговоре об исторических трудах Ломоносова обычно указывают, как он ошибался, полагая, например, пруссов славянами. Но подобными заблуждениями полна, в силу своего младенческого состояния, тогдашняя историография, и их куда значительно больше у немецких историков. Так, Байер производил Москву от "Моского", т.е. мужского монастыря, "Псков от псов, город псовый", на Кавказе обнаружил народ "дагистанцы", а в "Казахии" "древнейшее казацкого народа поселения упомянутие", уверял, что в Сибири живет народ чудь, а "чудь иное есть, как не самое имя скиф", что до Владимира Святославича на Руси не было письменности. В.Н. Татищев, указав на эти ошибки Байера, их причину видел в том, что "ему руского языка, следственно руской истории, недоставало", т.к. он не читал летописи, "а что ему переводили, то неполно и неправо", поэтому, "хотя в древностях иностранных весьма был сведом, но в русских много погрешал". Шлецер говорил, что Байер, не зная русского языка, "зависел всегда от неискусных переводчиков и наделал важные ошибки", и что у него "нечему учиться российской истории". И Ломоносов нисколько не преувеличивал, когда вел речь о "превеликих и смешных погрешностях" Байера, следующего "своей фантазии".

И Шлецер заблуждался, считая "емь ижорцами" (на что обратил внимание Н.М. Карамзин). Более того, с его именем связаны принципиальные ошибки, дорого обошедшиеся науке (в ряде случаев она и сейчас все продолжает платить по их счетам). Он, например, категорично отрицал существование летописей до Нестора, хотя знал как мнение В.Н. Татищева и И.Н. Болтина, что "были прежде Нестора летописцы, но писания их от времени утратилися", так и работу Г.Ф. Миллера, в которой тот вслед за Татищевым утверждал, что "Нестор уже застал письменные известия, по которым сочинил он свою летопись". Шлецер также привнес в науку тезис о совершенно низком уровне развития восточных славян, а несогласных с тем резко обрывал. Так, вывод немецкого экономиста А.К. Шторха, что до Рюрика у восточных славян существовала торговля, назвал "ненаучным" и "уродливым". К.Н. Бестужев-Рюмин констатировал, что Шлецер "внес большую смуту в умы", ибо смотрел на славян как на "американских дикарей", которым скандинавы "принесли веру, законы, гражданственность". В угоду норманизму Шлецер пошел на отрицание подмеченного Байером факта, что россы были в Восточной Европе прежде Рюрика. Он же навязывал науке мнение, что русская история начинается лишь "от пришествия Рюрика" и основания русского "царства", в чем Л.В. Черепнин увидел сильное отставание "от исторической науки своего времени". В целом же, как заключал В.О. Ключевский, Шлецер "не был достаточно подготовлен к научному изучению истории России", а в "Несторе" "собственно, не двинулся ни на шаг вперед сравнительно с самим Нестором в понимании фактов". Советский историк А.А. Зимин констатировал, что "как историк Древней Руси, Шлецер намного слабее", чем критик текста летописи. Впрочем, лучше всего сказал сам Шлецер, признавшись, "что для серьезных читателей, а тем более для ученых историков-критиков он не способен написать связной русской истории", хотя и ставил перед собой такую цель.

Но более всего скептически отзываются историки об исходном уровне знаний Миллера. Так, Шлецер говорил, что дискуссия надолго отбила у Миллера охоту к русской истории, "для занятия которою у него без того не доставало знания классических литератур и искусной критики". П.Н. Милюков отмечал отсутствие у Миллера "строгой школы и серьезной ученой подготовки". А.Л. Шапиро указывал, что Миллер, "не окончив курс университетских наук, и к историографическим штудиям прибился случайно". Сам Миллер был очень скромен в оценке своих возможностей. Направляясь в Россию, пределом его мечтаний была только служебная карьера: "Я более прилежал к сведениям, требуемым от библиотекаря, рассчитывая сделаться зятем Шумахера и наследником его должности". И лишь когда эти планы не сбылись, он "счел нужным проложить другой, ученый, путь". Этот путь Миллер в конечном итоге пройдет и пройдет с честью. Но он давался ему неимоверно сложно, ибо изучение русской истории Миллер начинал с абсолютного нуля, и этот процесс долгое время отягощался незнанием русского языка, а тем паче языка летописей, что закрывало доступ к самым важным источникам.

Даже к 1749 г. Миллера имел самый малый опыт работы в области русских древностей. Его начальные занятия ими были сведены лишь к составлению родословных таблиц. О степени его вхождения в русскую историю и сложный мир летописей свидетельствует тот факт, что Миллер, опубликовав в 1732—1735 гг. немецкий перевод извлечений из летописи, приписал ее "игумену Феодосию", что за ним повторил Байер. Лишь под воздействием Татищева Миллер в диссертации и позже говорил, что ПВЛ написал Нестор, "прежде сего ошибкою переводчика Феодосием назван". Но дело было не только в переводчике: в конце 40-х гг. Миллер Сильвестра, чье имя в качестве составителя ПВЛ читается в ряде летописей, выдавал за игумена Никольского, а не Выдубицкого монастыря, в чем его опять же поправил Татищев. Еще в 1761 г. он демонстрировал не совсем основательные знания русской истории. Так, в "Кратком известии о начале Новагорода и о происхождении российского народа…", по характеристике С.Л. Пештича, "упрощенном описании новгородской истории", Миллер увидел в бояр выборных лиц, а термин "тысяцкий" наивно объяснял тем, что тот должен был "стараться о благосостоянии многих тысяч человек". Но, не зная истории Руси, не зная русского языка, он с самого начала смотрел на нее глазами, если повторить его слова, "норвежских и древних датских поэтов и историков".

Пребывание Миллера в Сибири (1733—1743) и последующая работа над "Сибирской историей" вызвали огромный перерыв в его интересе к ранней истории Руси (в споре с П.Н. Крекшиным он провел лишь сверку своих прежних генеалогических разысканий). И к ней ученый обратился лишь весной 1749 г., когда ему было поручено подготовить речь к торжественному заседанию Академии. И ему менее чем за полгода надлежало раскрыть тему "О происхождении имени и народа российского", которой он доселе никогда не занимался. Задача была нереальной, но Миллер решил ее удобным и единственным для себя способом. Что это был за способ, сразу же определил Ломоносов, говоря в замечаниях на диссертацию про "доводы господина Миллера, у Бейера занятые". В 1761 г. он сказал более конкретно: "Миллер в помянутую заклятую диссертацию все выкрал из Бейера". В.О. Ключевский произнес по сути те же слова: Миллер своими изысканиями "сказал мало нового, он изложил только взгляды и доказательства Байера". Но все равно дело шло необычайно трудно, так что Миллер начал представлять свою диссертацию на суд президента Академии лишь с 14 августа и то лишь по частям.

В норманистской литературе не принято говорить, в чем же конкретно заключалась "безупречная" аргументация Миллера, утверждавшего ею "научную истину", — скандинавство варяжской руси, и что ей противопоставлял представитель "мутной струи" в историографии XVIII в. Ломоносов. А аргументация эта весьма красноречива. Так, Миллер в согласии с Байером утверждал, что не было Аскольда и Дира, а был только один "Осколд, по чину своему прозванный Диар, которое слово на старинном готфском языке значит судью или начальника", чего не знали летописцы. Это мнение Ломоносов оспорил, сославшись на ПВЛ и М. Стрыйковского. Миллер, опираясь на мнение Байера, что литовцы русских называют "гудами", заключал, "из чего, как кажется, явствует, что они или знатнейшая их часть по мнению соседственных народов произошли от готфов". В системе доказательств последнего Миллер важное место отвел топонимике. Но его суждение, что имя г. Холмогор произошло "от Голмгардии, которым его скандинавцы называли", разбивало простое объяснение Ломоносова: "Имя Холмогоры соответствует весьма положению места, для того что на островах около его лежат холмы".

По тому же принципу Миллер попытался превратить название г. Изборска в скандинавское, утверждая, что "он от положения своего у реки Иссы именован Иссабург, а потом его непрямо называть стали Изборском". На что его оппонент коротко, но исчерпывающе заметил: "Весьма смешна перемена города Изборска на Иссабург". Мысль Миллера попытался закрепить в науке А.Л. Шлецер. Н.М. Карамзин, возражая Миллеру, отметил обстоятельство, делающее "изъяснение" Изборск как Исаборг бессмысленным: "Но Иса далеко от Изборска". Норманист П.Г. Бутков, указав на это же обстоятельство, привел наличие подобных топонимов в других русских землях. Современные исследователи, видящие в варягах норманнов, говорят, что Изборск ѕ "славянский топоним", и указывают на невозможность его образования от Исы. Данную тему закрывает известный факт, что среди названий древнерусских городов IXѕX вв. совершенно отсутствуют скандинавские названия (миражный скандинавский "Иссабург" ныне вновь стремятся возродить археологи Д.А. Мачинский и С.В. Белецкий).

Утверждая вслед за Байером, что имя "русь" перешло на восточных славян от финнов, именовавших так шведов, Миллер добавил, "подобным почти образом как галлы франками и британцы агличанами именованы". На что Ломоносов справедливо заметил: "пример агличан и франков… не в подтверждение его вымысла, но в опровержение служит: ибо там побежденные от победителей имя себе получили. А здесь ни победители от побежденных, ни побежденные от победителей, но всех от чухонцев!". Позиция Ломоносова получила поддержку среди антинорманистов и их противников. По мнению Г. Эверса, "беспримерным и неестественным мне кажется, чтоб завоевывающий народ переменил собственное имя на другое, употребляющееся у соседа, и сообщил сие принятое имя основанному им государству". "Как-то странно допустить, ѕ говорил К.Н. Бестужев-Рюмин, ѕ чтобы скандинавы сами называли себя именем, данным им финнами". Давно стало достоянием науки и заключение Ломоносова, показывающее всю несостоятельность норманизма, что "имени русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано". Сначала Миллер признал, что имя россов не было в середине IX в. "известно в Швеции", а затем в 1877 г. кумир нынешних норманистов датчанин В. Томсен согласился, что среди скандинавов не было племени "русь" и что так себя они не называли. Вместе с тем Ломоносов обратил внимание на существование в Европе, помимо Киевской Руси, других "Русий", например, "Белой и Чермной", которые, как он подчеркивал, "имеют имя свое, конечно, не от чухонцев", и доказал, что "российский народ был за многое время до Рюрика", чему так упорствовал во время обсуждения своей диссертации Миллер, но затем сам утверждавший, что "россы были и прежде Рурика".

Ломоносов, обращая внимание на название устья Немана Руса, указал на бытование в прошлом Неманской Руси, откуда и выводил варяжских князей на Русь. Эта идея нашла поддержку среди широкого круга исследователей, в том числе норманистов. Так, Миллер уже после дискуссии говорил о варяжской руси в Пруссии при устье Немана. Н.М. Карамзин допускал возможность призвания варягов из этого же района. Наличие Руси в устье Немана доказывал в 1840 г. И. Боричевский. В конце жизни М.П. Погодин, борясь с антинорманистами, по его же словам, "не на живот, а на смерть", пришел к заключению, что варяги-русь в эпоху призвания "жили, вероятнее, в нижнем течении Немана", где их только и надо искать. Все большую роль в науке играет вывод Ломоносова о связи руси с роксоланами. Норманист Г.В. Вернадский полагал, что название русов изначально принадлежало одному из "аланских кланов" — светлым асам (рухс-асам). Д.Т. Березовец установил, что восточные авторы под "русами" понимали алан Подонья. Д.Л. Талис показал существование Причерноморской Руси в VIII ѕ начале X в. в Восточном и Западном Крыму, а также в Северном и Восточном Приазовье, увязав ее с аланами. М.Ю. Брайчевский "русские" названия днепровских порогов, приведенные Константином Багрянородным, объяснил из осетинского языка, являющегося наследием аланского. Существование Салтовской и Причерноморской Русий, а также Аланской Руси в Прибалтике, созданной в IX в. русами-аланами после их переселения с Дона из пределов разгромленного хазарами и венграми Росского каганата, обосновал А.Г. Кузьмин.

Ломоносов, опровергая мнение Миллера, видевшего в варягах лишь датчан, норвежцев и шведов, доказывал, что так "назывались народы, живущие по берегам Варяжского моря", что варяги "от разных племен и языков состояли и только одним соединялись обыкновенным тогда по морям разбоем". Позже Миллер согласился, что по всему Варяжскому морю не было народа, который бы собственно варягами назывался, что под варягами следует разуметь мореплавателей, воинов, которые "могли состоять из всех северных народов и из каждого состояния людей". С.М. Соловьев, критикуя Ломоносова как историка, вместе с тем ставил ему в особую заслугу именно то, что он отрицал этническое содержание термина "варяги" (сам историк под варягами понимал "сбродную шайку искателей приключений"). Ломоносов был первым в науке, кто обратил внимание на тесную смысловую связь терминов "варяги" и "немцы". В связи с чем он опять же впервые указал, что в Сказании о призвании варягов летописец выделяет русь из числа других варяжских народов, при этом не смешивая ее со скандинавами (эта мысль затем получила весьма широкую поддержку в историографии). И в этом случае его позиция подкрепляется источниками. Например, в Рогожском летописце (список 40-х гг. XV в.) в рассказе под 986 г. о приходе к Владимиру посольств вместо "немцев" к князю явились уже "варяги": "приидоша к Владимиру бохмичи и варязи и жидове". В ранних летописях в этом случае сказано иное: "придоша немьци… от папежа" (Лаврентьевская), "от Рима немци" (Радзивиловская), "немци от Рима" (Ипатьевская). Густинская летопись (1670), ведя речь о шведах, подчеркивает: "Их же бо оные тогда варягами нарицах. Си мы всех обще немцами нарицаем. Си есть шведов, ангелчиков, гишпанов, французов и влохов и прусов".

Ломоносов в ходе дискуссии задал Миллеру вопрос, ставящий под сомнение все его выводы: почему он "нигде не указал отца Рюрика, его деда или какого-нибудь скандинава из его предков?". Позже, говоря о призвании Рюрика, ученый заметил, что если бы он был скандинавом, то "нормандские писатели конечно бы сего знатного случая не пропустили в историях для чести своего народа, у которых оный век, когда Рурик призван, с довольными обстоятельствами описан". Немец Г. Эверс выразительно охарактеризовал отсутствие у скандинавов преданий о Рюрике как "убедительное молчание". По мнению Ломоносова, Байер имена русских князей "перевертывал весьма смешным и непозволительным образом, чтобы из них сделать имена скандинавские". Правоту этих слов подтвердил норманист В.О. Ключевский, сказав о способе Байера "превращать" русские имена в скандинавские: "Впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым, но самый прием доказательства держится доселе". В отношении же Миллера Ломоносов сказал, что он "толкует имен сходства… от неразумения российского языка". Ломоносов заметил, что если бы русь была скандинавской, то "должен бы российский язык иметь в себе великое множество слов скандинавских". Вслед за Ломоносовым Шлецер говорил, что "славянский язык ни мало не повреждается норманским". Пытаясь объяснить это малочисленностью норманнов на Руси, он при этом воскликнул, что подрывает все разговоры о норманстве руси, сколько германских слов было занесено франками в латинский язык галлов!

Миллер уверял, что Ломоносов не может подкрепить свои "выдумки" о южнобалтийском происхождении руси "свидетельствами историй", подчеркивая при этом, что "ни у кого из писателей в уме никогда не было, кроме автора киевского "Синопсиса", варягов признавать за славян". Но, помимо Синопсиса (1674), о том же говорят, например, "августианская" легенда (вторая половина ХV в.), "Хронограф" С. Кубасова (1626), Бело-Церковский универсал Б. Хмельницкого (1648). О южнобалтийской Вагрии как родине варягов вели речь многие западноевропейцы — С. Герберштейн (первая половина XVI в.), Г.В. Лейбниц (1710). Современник Миллера датчанин А. Селлий утверждал то же самое. В XVII в. немецкие историки Ф. Хемнитц и Б. Латом установили, что Рюрик жил около 840 г. и был сыном ободритского (южнобалтийское славянское племя) князя Годлиба. В 1708 г. был издан первый том "Генеалогических таблиц" И. Хюбнера. Династию русских князей он начинает с Рюрика, потомка вендо-ободритских королей. И Миллер лукавил, упрекая оппонента в отсутствии "свидетельств истории", ибо был в курсе их существования. Так, Байер в статье "De Varagis" привел известия "августианской" легенды, Герберштейна, Латома, Хемнитца. Ломоносов пользовался 4-м изданием Хюбнера (1725), имевшимся в Библиотеке Академии наук, и Миллер, знал, конечно, о наличии в ее фондах этого труда. В последующих работах он не проходил уже мимо версии о выходе варягов из Вагрии и "мекленбургских писателей", выводивших Рюрика от ободритских князей.

Ломоносов, акцентируя внимание на том факте, что Перуна "почитали, в поганстве будучи, российские князья варяжского рода", а культ его был распространен на славянском побережье Балтийского моря, пришел к выводу, что варяжская русь вышла именно оттуда и говорила "языком славенским". В пользу такого заключения говорят многие источники. Так, западноевропейский хронист XII в. Гельмольд называет главного бога земли вагров — Прове, в котором видят искаженное имя славянского Перуна. И.И. Первольф констатировал, что четверг у люнебургских славян (нижняя Эльба) еще на рубеже XVIIѕXVIII вв. назывался "Перундан" (Perendan, Perandan), т.е. день Перуна, олицетворявшего в их языческих верованиях огонь небесный, молнию, а этот факт, подчеркивает А.Г. Кузьмин, предполагает широкое распространение культа Перуна и признание его значимости. А.Ф. Гильфердинг отмечал, что Перуну поклонялись на всем славянском Поморье. В числе кумиров священной крепости на о. Руяне стоял Перунец. На Южную Балтику указывает не только имя Перуна, но и характер изображения божеств, установленных Владимиром в 980 году. Вместе с тем культ Перуна, бога варяго-русской дружины, был совершенно не известен германцам (скандинавам).

Прекрасное знание Ломоносовым источников, русской и европейской истории, работ западноевропейских историков, его превосходство над Миллером и в методологическом плане позволили ему заключить, что "оной диссертации никоим образом в свет выпустить не надлежит", ибо "вся она основана на вымысле", и может составить "бесславие" Академии. Обращал Ломоносов внимание и на политическую подоплеку норманского вопроса, говоря, что в диссертации находятся "опасные рассуждения", а именно: "происхождение первых великих князей российских от безъимянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, который их именно от варягов-руси производит, происхождение имени российского весьма недревне… частые над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями… России перед другими государствами предосудительны, а российским слушателям досадны и весьма несносны быть должны". В этих словах и в словах, "что ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, то не будут ли из того выводить какого опасного следствия", обычно и видят единственный мотив выступления Ломоносова против норманской теории. Несомненно, патриотизм и эмоции в этом деле присутствовали, но они уже были явлениями, так сказать, второго порядка, ибо Ломоносов прежде всего выступил против фальсификации начальной истории Руси, в угоду чему совершалось явное насилие над источниками. И вряд ли ему можно вменять в вину то, что он на заре зарождения исторической науки в России встал на защиту исторической правды, желая ознакомить с ней соотечественников.

В условиях национального подъема России понятна забота Ломоносова о ее международном престиже, зависящем не только от ее настоящего, но и от ее прошлого. О своем престиже тогда беспокоились, наверное, все европейские страны, не оставляя без внимания ничего, что могло бы принести им бесчестье и, тем самым, уменьшить их вес на мировой арене. В этом плане показательна та обеспокоенность И.Д. Шумахера, которую он выразил 4 декабря 1749 г. в письме Г.Н. Теплову. Сообщая, что похвальная речь Ломоносова императрице на торжественном заседании Академии была принята с одобрением, он при этом подчеркнул: в ней имеются выражения, которые могут показаться обидными прусскому и шведскому правительству. Опытный Шумахер, чтобы упредить возможный международный скандал, завел разговор всего лишь из-за того, что Ломоносов несколько раз упомянул о победах русских над шведами в Северной войне и войне 1741—1743 годов. Пруссию же он прямо нигде не назвал, но в его словах о "завистнике благополучия нашего", которому Россия может ответить всей своей мощью, видят намек на прусского короля Фридриха II. Зрела Семилетняя война, и европейские государства, зная себе цену в настоящем и свои устремления в будущем, всемерно вставали на защиту своего прошлого. И Россия не желала быть своей историей, как считал Вольтер, "подтверждением и дополнением к истории Швеции", и предстать перед своими будущими противниками и возможными союзниками такой, какой ее рисовал Миллер.

Ломоносов показал несостоятельность норманской теории также профессионально, как он профессионально показал непригодность "Русской грамматики" Шлецера в том виде, в каком она была задумана. Летом 1764 г. он сказал о незнании ее автором предмета, о "сумасбродстве в произведении слов российских", подчеркнул, что в ней "кроме множества несносных погрешностей внесены досадительные россиянам мнения", и закончил свой отзыв хорошо известными словами: "Из чего заключить должно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина" (5). Такую реакцию Ломоносова вызвало нарочитое стремление Шлецера русские слова либо вывести из немецкого, либо дать им неблагозвучное объяснение: "дева" и "Dieb" (вор), нижнесаксонское "Tiffe" (сука), голландское "teef" (сука, непотребная женщина); "князь" и "Knecht" (холоп); боярин, барин и баран, дурак. В этих словопроизводствах, проистекающих из представления немцев, что русский язык есть Knechtsprache, Ломоносов увидел, как и в случае с диссертацией Миллера, отсутствие науки.

Как историк России, Ломоносов ставил перед собой задачу: "Коль великим счастием я себе почесть могу, ежели моею возможною способностию древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются" (6). И можно только гадать, что было бы им сделано на поприще истории, если бы она одна была его уделом. Но и того, что он сделал, занимаясь еще химий, математикой, физикой, металлургией и многими другими отраслями науки, вполне достаточно, чтобы признать Ломоносова историком и без предвзятости взглянуть и на него и на его наследие. От чего ни в коей мере не пострадают истинные и весьма значительные заслуги немецких ученых перед российской исторической наукой. Великий Л. Эйлер в одном из писем за 1754 г. с восхищением говорил Ломоносову, что "я всегда изумлялся Вашему счастливому дарованию, выдающемуся в различных научных областях" (7). Таким же дарованием, помноженным на свойственное ему трудолюбие и желание дойти до самой сути дела, обладал Ломоносов и в истории, не жертвуя при этом ни истиной, ни своей очень высокой научной репутацией.

В 1865 г. П.А. Лавровский, справедливо сказав, что Ломоносов для России "был и есть беспримерным явлением, недосягаемым великаном", констатировал, что он в обработке русской истории, как и на "не открытой прежде почве" русского языка, натолкнулся "также на неподготовленную еще почву и вынужден был сам и удобрять, и вспахивать, и засевать и боронить ее", совершив тем самым "многотрудный подвиг". И ученый с огорчением отмечал, что "русские привыкли судить о своих великих людях по отзывам Запада". В 1912 г. И.А. Тихомиров, говоря о мыслях Ломоносова об участии славян в великом переселении народов, в разрушении Западно-Римской империи, верно заметил, что они сейчас являются ходячими истинами. Следует добавить, что прозорливость ума, обширность и глубина знаний русского гения позволили ему указать на родство венгров с чудью (до этого только в XIX в. дошла филология), установить, что не существует несмешанных наций (так, он доказывал смешанный состав славянских племен) и что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится известным его имя. И глубоким смыслом наполнены слова С.М.Соловьева (особенно актуально звучащие сегодня), в год столетия со дня смерти М.В. Ломоносова подчеркнувшего, что "никто и ничто не отнимет у нас славного, праздничного будущего, если мы сами не отнимем его у себя, если, прежде всего, не позабудем своего славного праздничного прошедшего" (8).

**Список литературы**

1. Миллер Г.Ф. О народах издревле в России обитавших. СПб., 1788. С. 127.

2. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. СПб., 1875. С. 48, 56, 193-196, 200-201, 207, 227, 229-230; Шлецер А.Л. Нестор. Ч. I. СПб., 1809. С. 325, 430.

3. Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). Т. 7. М., 1923. С. 142; Шторм Г.П. Ломоносов. М., 1933. С. 87; Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 87-92, 95-97, 107, 114, 153-155.

4. Карпеев Э.П. Ломоносов в русской культуре. Вместо предисловия // Ломоносов. Т. IX. С. 3.

5. Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т .9. М., Л., 1955. С. 420, 426-427.

6. Там же. Т. 10. М., Л., 1957. С. 474-475.

7. Ченакал В.Л. Эйлер и Ломоносов (к истории их научных связей) // Эйлер Л. Сборник статей в честь 250-летия со дня рождения, представленных Академией наук СССР. М., 1958. С. 442.

8. Лавровский П.А. О трудах Ломоносова по грамматике языка русского и по русской истории // Памяти Ломоносова. Харьков, 1865. С. 21-22, 50-56; Тихомиров И.А. О трудах М.В. Ломоносова по русской истории // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. Ч. XLI. Сентябрь. СПб., 1912. С. 41-64; Соловьев С.М. Очерк состояния России в эпоху деятельности Ломоносова // Его же. Сочинения. Кн.XXIII. М., 2000. С. 162.